

Аркадий Макаров

---

# Такая вот...

Дети войны

Аркадий Макаров

**Такая вот... Дети войны**

«Издательские решения»

**Макаров А.**

Такая вот... Дети войны / А. Макаров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-749533-6

Эта книга рассказывает о неоднозначной жизни подростков, родившихся во время войны, и их возмужании в условиях послевоенного времени.

ISBN 978-5-44-749533-6

© Макаров А.  
© Издательские решения

## Содержание

Вместо предисловия	7
Такая вот C'est la vie	8
Сошедший с пьедестала	14
Андел! Андел прилетел...	17
Воля	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

**Такая вот...**  
**Дети войны**  
**Аркадий Макаров**

© Аркадий Макаров, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



## Вместо предисловия

Персонажи этой книги вошли в наш, вечно изменяющийся мир, под грохот кованых сапог германцев, в огне и вое медных труб, в дыме пожарищ, облитые слезами и горем стонущей русской бабы – Война! Как написал один мой ровесник и товарищ, тамбовский поэт Гена Якушенко нелепо погибший в начале шестидесятых годов:

«Не плач при мне. Не выношу я слёз.

Запрячь, захорони в душе обиду...

Я среди бед, я среди горя рос.

Я столько слёз в глазах у женщин видел!

Вой-на... Зачатые наспех, кое-как – война! иногда невзначай – война!, мои ровесники не могли быть иными, чем показано в этой книге. Я не говорю о комсомольских стройках, в которых они безоговорочно и до конца отдавали молодость и силы. Об этом много сказано и без меня. Знаете, как в песне:

«Я помню завод Ильича,

Две маленьких доменных печи,

А третью строили мы,

Согнув свои юные плечи».

Ранняя самостоятельность, безотцовщина, скудность послевоенной жизни сделали их невосприимчивыми к житейским проблемам, но безумно любящими саму жизнь. Они никакие не герои, простые жители и насельники своей, как позже скажут, застойной эпохи. Обманутые говорливым племенем перестройщиков, проживая в бедности и юдоли, они, и до сих пор ещё, не потеряли веру в иное, более справедливое общество. Но, как говорится, что есть, то есть, что было – было...

## Такая вот C'est la vie

### 1

Холодный дождь стальными жгутами охлестывает осенние деревья, пытаюсь вместе с листьями содрать и кожу, деревья возмущаются, гнуться, шумят, но так и остаются на месте, увязнув в наших русских черноземах.

Осень всегда печальна, особенно теперь под затяжными дождями с ветром готовым смахнуть все по своей дороге.

Печалюсь и я...

Печалюсь, что так быстро пролетело чудесное лето с погожими долгими днями, с его теплом и утренней улыбкой зари, что безвозвратно прошла молодость, оставив в сердце досадное чувство за присущую ей, молодости, бездумность и щедрое растраниживание времени на пустяки.

Все вернется на круги своя, но отпущенное тебе Господом Богом время не возвратиться никогда. Эта аксиома всем известна, но верить тому отказывается душа вопреки разуму. Может, действительно душа вечна и ей, душе моей, все наперед известно и определено. Может, потому я с такой жадностью гробил молодые годы на пустяки, на солому дней сгорающих без следа в закатных небесных кострах.

Только в школьные дни ясные и чистые ты полностью ощущаешь радость новизны жизни, которая течет как светлый ручеек из солнечного родничка, чтобы потом прошуметь высокой волной полноводной реки, или захлебнуться, запутавшись в бурьяне, стоячей, прокисшей водой, рядом с пустыми, сухими берегами.

Все еще впереди, еще не жжет сердце горькая щелочь утрат, и солнце светит только тебе одному.

### 2

У нас в Бондарях была одна школа, районная.

Школа одна, но какая! Только на моей памяти она выпустила из своего шумного рукава четырех генералов Советской Армии, двух докторов технических наук, заслуженного врача-хирурга, около десятка педагогов, двух членов Союза писателей, несколько заслуженных строителей.

Школа располагалась в тесном двухэтажном здании бывшего трактира, в котором по воспоминаниям тех стариков просаживались в карты не только поместья и состояния.

Бондари – село большое, вольное. Здесь, еще с петровских времен обосновались беглые крестьяне, получившие вольную как работники новой суконной фабрики француза Леона.

Бон пари! – восклицал он на берегу Большого Ломовиса, оглядывая зеленые спины холмов за рекой, может, поэтому и село Анастасиевка было переименовано в Бондари, потому, что тех, кто делает дубовые бочки, здесь отродясь не жили.

В советское время фабрику местные жители растащили по кирпичикам на хозяйственные нужды, трактир приспособили под школу. Потом из школы сделали музей, на фасаде которого красовалась памятная доска в честь известного советского поэта Владимира Замятина, лауреата Государственной премии.

Теперь за ненадобностью музей снесли. Построили новую школу, но будет ли она столь удачлива для ее обитателей, не знаю.

Вместе с музеем стирается и память о своих достойных земляках. Новое поколение, по моим наблюдениям не любопытно, и вряд ли оно сможет удержать в памяти достойное прошлое своего села. Новая жизнь, новые заботы сундучного времени.

Но это так, к случаю.

3

В старших классах, когда я учился, в большой моде были кулачные бои между сверстниками. Правда, они назывались более романтично – дуэли.

Начитавшись классиков, дуэли могли устраиваться по любому поводу и не обязательно из-за девочки.

Шаги и пистолеты, где возьмёшь, а кулаки всегда при себе.

Дуэль объявлялась заранее в строго назначенное время. Если противник опаздывал или не приходил вовсе, ему объявлялось поражение в правах и всеобщее презрение.

Обычно дрались до первой крови, соблюдая незыблемое правило чести – лежачего не бьют.

После драки, размазывая по лицу кровь и выплевывая зубы, братались, зла друг на друга не держали, не как в нынешнее время, когда само слово «честь» вызывает ироническую усмешку.

Я не то, чтобы так уж лез в драку, но доставалось и мне.

Редко кто миновал эти богатырские, не всегда веселые и безобидные забавы.

Бои происходили на глазах заядлых болельщиков, которые ставили свои сбережения и скудные заначки то на одного, то на другого бойца.

Но ставки были беспроигрышные: весь сбор относили в местную чайную на сигареты или на бутылку дешевого портвейна. Тогда времена были попроще.

Из-за девочек старались устраивать дуэли с выдумкой. Болельщики не приглашались, – только секунданты. Все происходило по взыправдашнему: лихая пощечина, презрительный плевок под ноги – остальное было делом секундантов.

Секунданты выбирали особый способ удовлетворения чести. Кулачные бои отвергались сразу за грубость решения проблемы. Не джельтельменское это дело, кулаками махать!

Самый распространенный способ удовлетворения был таков: кто лезвием бритвы запросто вырежет на запястье первую букву имени любимой девочки, тот и будет победителем.

Если тот и другой смогли вырезать первую букву, вырезалась вторая, и так далее до самого конца.

Но такое происходило редко. Мало кому удавалось вырезать даже половину буквы.

Этот способ враз отрезвлял соперников, и они оставались при своих интересах, но были и такие, которые, закусив губу, полосовали себе кожу во имя одной девочки – Ларисы Заборовской.

Лариса была дочкой самого большого начальника нашего района, присланного сюда для укрепления бондарских партийных кадров, которые ничего не смыслили в сельском хозяйстве, кроме как писать грамотные отчеты борьбы за урожай.

Новую девочку посадили со мной за одну парту в шестом «А» классе.

– Мальчик, у тебя есть ножик, мне карандаш заточить?

Я выворачиваю карманы, выкладываю все свои мальчишьи амулеты и обереги, раскладывая свой заветный перочинный ножик с несколькими острыми, как жало, лезвиями, открываю одно и с готовностью подаю ей.

Нож в ее руках совсем не подчиняется ей, лезвие скользит по карандашу, осыпая стружки на парту, грифельный стержень крошится, пачкая ее розовые, как лепестки волшебного цветка, пальчики.

Я бережно беру из ее рук ножик, беру карандаш – раз-два и карандаш в моих руках уже заострен, как летящая стрела Амура.

Я в то время увлеклся мифами древней Греции.

– Вот! – сказал я, и неизъяснимый ток прошел от ее руки прямо через мое сердце.

В то время только-только входила в моду педагогическая мысль, что половая нивелировка поднимет успеваемость и благотворно скажется на общей дисциплине.

Сказалось ли это как-нибудь положительно, не знаю, но в нашей школе, хулиган так и оставался хулиганом, а двоечник – двоечником, только прибавилось заботы классному руководителю за девичью безопасность от такой близости.

Как бы там ни было, но мне бешено завидовали, что усложнило мою мальчишескую жизнь до предела.

Я чаще, чем когда-либо стал приходить домой с расквашенным носом или фингалом под глазом.

В Заборовскую были влюблены все мальчишки нашего класса, и борьба за ее внимание велась нешуточная. Уйти от ее чар, было выше моих сил.

Лариса была так не похожа на остальных моих одноклассниц: она и смеялась-то не так громко и заразительно, как те, и одевалась-то совсем не по-нашему, а по-городскому. Беленький кружевной воротничок на коричневом форменном платье, нежная белая кожа ее по-женски мягких рук, быстрые ножки на громких каблучках, сводили с ума даже безнадежного балбеса.

Поговаривали, что она еврейка, а ее родители сбежали в Советский Союз из оккупированной Польши, где их неминуемо ожидало бы уничтожение в печах Освенцима.

Вот этот непривычный для нашего села ее выговор на очень правильном русском языке, ее чистенькая аккуратная одежда, ее особенная прическа темных волос и легкий румянец, разом выбили из меня всю мальчишечью дурь.

Я произносил ее имя, как священное заклинание. Ложился спать с надеждой, снова увидеть ее, тайно вдыхать запах ее волос, нежный аромат неведомых мне трав и благовоний.

Что может быть чище и светлее первой любви подростка, еще не юноши, но уже и не мальчика? Ты каждый миг живешь в таком озарении всех своих чувств, словно весь мир принадлежит только тебе одному и тебе одному светит солнце в небесной глубине.

Боже, как я ее любил! Одного нечаянного прикосновения ее руки хватало, чтобы тебя окатывала высокая удушливая волна неизъяснимого чувства, такой нежности, что в счастливом упоении заходило сердце, хотелось кричать от счастья во весь свой не устоявшийся ломкий голос. Но ты скрываешь это, ты отыскиваешь уединенный угол и сгораешь там, растравляя в одиночестве все свои немислимые ожидания.

#### 4

Все было так, и неизвестно как бы сложилась моя дальнейшая жизнь, если бы не еще один человек, чьи чувства были так же задеты ее присутствием в нашем классе.

Звали его Скворец. Вообще-то он был Колькой, но фамилия его была Скворцов, поэтому – мы его называли Скворец, да Скворец.

Он действительно был похож на скворца. Смуглый с жесткой смоляной прической лежащей крылом, на его высоко поднятой голове с заостренным худым носом, он напоминал взломаченную весеннюю птицу готовую вот-вот запеть.

Маленький осколок войны, сирота, жил у сердобольной приютившей его двоюродной тетки, которая числилась в нашей церкви регентом, и Николай иногда тоже пел с ней в церковном хоре, на что наши учителя смотрели сквозь пальцы, сами пострадавшие за войну, они знали успокаивающую силу молитвы и церковного хорового пения.

Коля был застенчив, держался всегда один. Друзей у него не было, и я с ним не дружил тоже, хотя и никогда не дрался.

Мы дрались все со всеми, а он оставался в стороне.

От нас его отделял страшный, неизлечимый недуг – эпилепсия. Случались с ним припадки не совсем часто. Я только один раз видел ужаснувшую меня картину, когда Коля во дворе

школы бился в конвульсиях, выпачкав свой аккуратный костюмчик в мягкую, перемолотую сотнями ног, пыль.

Директор школы под страхом исключения, строго предупредил нас, чтобы мы об этом случае никогда Коле Скворцову не напоминали.

«Несчастный подранок войны» – сказал директор, вытерев, культипой ладонью лоб. Война везде успела наследить.

Коля Скворцов был эпилептик, но это ему вовсе не мешало бегать по балкам на решетчатом остове нашей растащенной на кирпичи фабрике. Высокие литые колонны соединялись между собой от второго до пятого этажа чугунными на болтовых соединениях балками, по которым, валяжно переступая, бродили только вороны да голуби.

У Коли Скворцова была одна страсть, которая нас удивляла и страшила: он совсем не боялся высоты и свободно бегал по узким балкам на самой верхотуре. Может, он подсознательно хотел самоутвердиться, или просто показать нам свою немислимую смелость.

Я страшно боялся высоты, от одного вида Колиных проделок у меня кружилась голова, и сосало под ложечкой.

Для меня целой проблемой было со стула ввернуть лампочку. В раннем детстве я видел как с телеграфного столба, сбитый ударом молнии упал и разбился насмерть наш сосед, работник районной связи.

Может, поэтому во мне и жил страх высоты.

Однажды на перемене Коля Скворцов, робким прикосновением ладони изобразил на моем лице пощечину. Вначале я даже и не понял, что это, пока мой закадычный дружок, Витька Клок, не заплясал возле меня, требуя удовлетворения.

Витя Клоков был из балбесов балбес. Безотцовщина, двоечник. Курить начал с семи лет, а материться еще раньше.

– Ой, ты смотри, мля, Скворец тоже в орлы хочет! – удивленно закричал он, требуя от меня немедленного удовлетворения.

– На что драться будем? – спокойно спросил я у Коли Скворца.

– Пойдем в сторону договоримся.

Я знал, что Коля потаенно посматривает на Заборовскую, и всегда был с ней услужлив, но меня это до нынешнего дня не трогало: мало ли, кому нравится моя девочка? Меня так и распирало от гордости и бахвальства, хотя я сам никогда не смел, даже подержать ее за руку. Для меня это было недостижимой вершиной, о которой я только мечтал.

Давай руку резать! – сказал я. – На все буквы – «Лариса».

– Нет, – сказал Коля, букв много...

– Э, зассал, зассал! – припрыгивая от нетерпенья, – непристойно жестикулировал Витя Клок, набившись ко мне в секунданты.

У Коли Скворцова нашелся свой секундант, староста класса Альберт Кудрявцев, Алик, как мы его звали. Алик был любимцем всех наших учителей, круглый отличник, ему пророчили большое будущее.

Из всей школы один Алик знал о моей фобии, боязни высоты.

Как-то надо было снять воздушный шарик, запутавшийся в ветвях дерева во дворе школы. Первого сентября был праздник, и яркий голубой шар выскользнул из рук маленькой первоклашки, которая от этого горько расплакалась.

Я в первом порыве бросился к дереву, подпрыгнув, ухватился за ветку, но залезть на дерево было выше моих сил, хотя за малышку было очень обидно.

– Ну, лезь, чего ты? – кричал мне Алик, – Боишься что ли?

– Ага! – почему-то сознался я.

Алик подпрыгнул, ухватился за ветку, по-обезьянни раскачался, зацепился ногой за другую ветку – и вот он уже на самой высоте, где весело под ветром, трепыхался этот злосчастный шар, сделавший меня перед лицом Алика, трусом.

... – Кто пройдет по балке на самом верху до опорной колонны, того и будет Заборовская, – твердо заявил Алик. – Может, откажешься, а? – ехидно спросил он меня и громко рассмехался.

Отказаться я не смог бы, если даже и захотел. Так вот запросто, отдать Заборовскую, было выше моих сил. Пусть упаду, пусть разобьюсь! Пусть! Пусть! Но Лариса никогда не узнает о моей трусости. Пусть...

– Ну, как? Разбивать руки или нет? – тормошил меня Витя Клок.

– Разбивай! – хрипло выдохнул я и протянул ладонь Коле Скворцову. – Давай, Скворец! Спорим!

Алик с Витей разбили наши руки, и мы пошли к фабрике. Ее остов, ее скелет мрачно чернел на фоне вечернего неба. Красный, огромный шар солнца зловеще высвечивал всю пустоту пространства заключенного в квадратные переплеты чугунных балок и колонн. В петровские времена прокатных станков не было, и большинство опорных конструкций были литые и держались на черных больших, как грибные шляпки, заклепках. Само время остановилось в их резких и грубых очертаниях.

Ничего, более страшного, чем эти мертвые переплеты, я не знал. Но, что делать? Позор еще страшнее, страшнее самой смерти.

И я пошел на этот спор, заранее прощаясь с жизнью. Я твердо знал, что мне никогда не осилить эту пустоту, эти полсотни шагов по узкой в ширину ладони балке на высоте двадцати метров.

«Пусть я разобьюсь всмятку, в лепешку, но не уроню своей чести перед Аликом, Колей Скворцовым, которого я теперь зауважал из-за его потаенного чувства к Ларисе Заборовской, перед Витей Клоковым, перед своим 6-а классом. Пусть!»

Я шел, обреченный, но не сдавшийся. Жаль, только мать будет плакать. А отец – ничего! Утрется рукавом и скажет: «Пропал сукин сын не за понюх табаку!»

Но, что не думай, а ничего не придумаешь. Вот они черные чугунные перекладки в огненном зареве закатного солнца. Свершилось! Витя Клок поплевав на счастье в свою ладонь, пожал мою руку:

– Покажи Скворцу, как орлы летают!

Ничего себе, успокоил! У меня так горько сжалось сердце, что я непроизвольно застонал.

– Ты, что? – участливо спросил Витя Клок.

Я зажал ладонью щеку:

– Ззубб...

– На, покури! – Витя Клок протянул мне замусоленный чинарик. – Мой отец всегда зубы махоркой лечит.

Я глубоко затянулся и бросил чинарик под ноги:

– Все! Полезли!

Впереди всех взбирался по маршевой лестнице Коля Скворцов.

– Я первый! – сказал он, и почти бегом ступень за ступенью отмахивал пролеты.

Что решил, то – решил!

За ним полез я, избегая смотреть себе под ноги и всячески бодрясь перед непоправимым. Все! Мы на высоте!

Алик с моим другом остались где-то там, внизу, куда я избегал смотреть.

Коля уже шагнул на балку. Я вспомнил, что говорил нам учитель физкультуры Петр Сафронович: «Если идешь по перекладине, нельзя смотреть под ноги, надо, чтобы взгляд ложился в длину на расстояние высоты твоего роста, тогда сохраняется устойчивость тела.

Собрав остатки своего мужества в кулак, я, раскинув руки, ступил на балку и сделал шаг. Ничего, только между ног подло зашекетало и ужалось в маленький комочек. Впереди покачивалась спина моего соперника в ярком оранжевом сиянии вечернего солнца

Вдруг Коля передернул плечами, как в ознобе, вскинул в страшном изломе руки и исчез с моего пути.

Еще не понимая, что случилось, я не помню, как очутился возле спасательной колонны. – Скворец полетел! – глупо гыкнул Витя Клок и тут же осекся.

Я, обняв колонну, мгновенно соскользнул по ней на землю и подбежал к раскинутому на щебне моему сопернику. Его тело с поджатыми коленями лежало так неудобно, что я попытался повернуть Колю на спину, ребята, подбежав, помогли мне.

Коля прерывисто и как-то страшно дёргался, широко открыв рот, который был набит вишневым вареньем с косточками.

Хоронили Колю всей школой. Белый, мраморный лоб мне долго представлялся, когда я мельком смотрел на черный каркас нашей старинной фабрики.

На другой день после похорон я, пряча взгляд, сел на свою парту. Резкая пощечина заставила меня выскочить из-за парты. Заборовская, зло, взглянув на меня, молча, собрала с парты учебники и ушла на пустующее место Коли Скворцова.

До самого окончания школы она со мной не обмолвилась ни одним словом, и всячески старались меня избегать. После выпускного вечера я ее больше не видел.

А каркас из чугунных столбов и балок вскоре порезали электротоком на металлолом.

P.S,

Я готовился поступать в институт, оценки позволяли мне надеяться на вольную студенческую жизнь, если бы не только что вышедший на экран фильм «Высота».

Эта талантливая картина о рабочем классе, снова разбудила во мне память о том далеком случае. Забросив учебники, я уехал в Тамбов, где, к неудовольствию родителей, поступил учеником монтажника в трест «Химпромстрой». И всегда, когда мне приходилось работать на высоте, передо мной в сиянии закатного солнца, стояла маленькая фигурка Коли Скворцова.

Такая вот се ля ви...

*Мы, дети опалённые войной  
Мы, дети озарённые Победой.  
из ранних стихов*

## Сошедший с пьедестала

*Стоит солдат. Он в каменной шинели.  
Из ранних стихов  
Только крикнут во след дороге:  
– Ворочайся назад!..  
там же.*

1

Вернулся. Пришёл с войны солдат-освободитель Григорий Матвеевич Тягунов к своей молодой жене, одарённой не только красотой, но и беззаветной верностью, какая наблюдалась у русских женщин в самые суровые годы. Вернулся... Но об этом я расскажу потом.

Наш народ, что пружина в автомате Калашникова. Курок не выбьет искру и не запалит патрон, пока эта самая пружина, которая сначала податлива, тягуча, – делай, что хочешь, пока эта пружина не сожмётся до упора, до самого предела, потом, спохватившись, начнёт давать такой ход, безотказный и стремительный, что боёк только поспекает долбить стальным калёным клювом, вышибая из патронника, из магазина, убойную, неотвратимую силу. Только нажимай спусковой крючок...

Так и случилось в ту, последнюю Отечественную войну с русским народом. Не замай! Пружина народной обиды не лопнула, а, сжавшись, стала давать обратный ход, – только успевай – «айн-цвайн-драйн!» могилы копать в податливой русской земле.

Всё вернулось на круги своя! И – слава Богу! Повеселели глазами, подобрели бабы. Таковую перемену первыми почувствовали дети. Куда делась испуганная присмиренность? Даже назойливые постояльцы – понос с золотухой, стали понемногу покидать привычные, обжитые места. Малышня, рождённая ещё в счастливое, мирное время, подрастала. Крепла, а новой прибавки не было. Да откуда ей быть-то?! От ветра что ли? Мальчишки приобретали раннюю мужскую уверенность и преждевременную волю, над которой сокрушались и всплескивали руками зачумлённые в работе, солдатки.

Повозка войны, громыхая всеми колёсами, расплёскивая по русским дорогам слёзы, а какая война, даже победная, – без слёз? покатила назад, подминая под себя гитлеровские волчьи урочища и ямы. Заговорили о непобедимости Советской Армии, о военной хитрости партийного руководства страны, умело заманившего фашистского зверя в смертельный капкан.

Так это или не так, знают только те, кто давно уже перемешался с землёй, отдав ей свою жизненную силу.

Пацаны, мастыря рогатки, и поджигные наганы, азартно устраивали сражения. Теперь в «немца» играть никто не соглашался – в горячке жестокой игры можно было получить и по зубам. «Огледы! – ворчали бабы, когда только подрастёте?

Подросли. Вошли в силу. Состарились...

2

Вот и дотянулись до победы. Дожили. Додержались. Дотерпели.

Война, пережевав большую часть наших бондарских мужиков, выплюнула одни огрызки, но уже оглашались улицы басовитым привычным матом, пьяными драками и, забытой до поры, русской говорливой гармошкой, иногда к ней, нашей трёхрядке, подлаживался, белозубо сверкая перламутром, трофейный аккордеон с томительным, как любовные признания, голосом.

Искалеченность мужиков, недавних бойцов заслонивших свою землю, не воспринималась тогда трагически, как несчастье, по крайней мере, не было в глазах той боли, которая

делает человека жалким, несчастным, зовущим к состраданию. Напротив, – здоровый мужик, у которого ноги и руки на месте, вызывал вместе с восхищением и подозрительность: «Надо же, какой везунчик! Всем хватило, а ему не досталось!»

Возле нашей школы, недалеко от райисполкома, а, точнее, напротив, чуть наискосок этого органа власти на селе, располагалась шумная чайная, где вечно толпилась транзитная шоферня, смущая бондарских выпивох и одиноких вдовушек.

К этой чайной тянулось много дорожек политых бабьими слезами. Одна из дорожек вела сюда и Гришу Тягунова, Потягунчика, как у нас, его звали. Дорожка шла от его добротного, срубленного прямо перед самой войной, дома. Дом Гриша рубил сам ловким и умелым топором. Силы было не занимать, да и стати тоже. Крутой мужик, напористый – всё сам да сам. А теперь вся сила и мощь Гриши заключалась только в его руках. Вот тебе и война-злодейка!

Позвоночник у Гриши был перебит немецким осколком, но ни от Гриши, ни от его заботливой жены, никто никогда не слышал горестных стенаний на свою судьбу. Перемогались сами. Как могли.

Кличка «Потягунчик» прилепилась к нему с языка говорливой жены. Она, выпрастывая его из душевной избы на улицу, приговаривала: «Потягушки сделай руками! Потягушки! Вот и будешь на солнышке!». Так фамилия перекинулась с его образом жизни.

Чтобы мужик выползал на воздух, для этого сметливая баба, навроде шпал узкоколейки, обочь половичков, набила кругляшей от жердины, за которые, хватаясь крепкими ещё руками, передвигался на животе хваткий орденосец, освободитель Европы, легендарный Советский солдат, стать которого осталась в Трептов Парке.

Для того безденежного времени. Гриша получал неплохую пенсию, время выдачи которой, так скрашивало, если не его бытие, так семейный быт. Бутылка обязательной водки была ему наградой за боевые заслуги и ратный труд.

Жена блюла Гришу строго. Больше бутылки в месяц ему за все подвиги не причиталось. Соседи были предупреждены. Гришинных жалельщиков сбегать за вином, она тут же останавливала своим бабьим правом. И вот, когда Грише становилось невыносимо, когда особенно спекалось внутри, а жена была на колхозной работе, он ящерицей выползал на дорогу к гулливой районной чайной.

Чтобы там хорошо поднабраться, денег ему для этого не требовалось. Компанейская шоферня, тоже недавние воины-освободители, с добродушными шутками подсобляла ему добраться до буфета, где угощали вином, но не из чувства жалости, а исключительно только в знак мужской солидарности. Ведь каждый из них мог оказаться на его месте, ведь каждому был припасён свой осколок да промахнулся. Пей, Гриша! Пей!

Тогда Гришин дух воспарял. Он на равных матерился с товарищами, смеялся, забыв свою отметину в позвоночнике.

Однажды, возвращаясь из школы, я увидел дядю Гришу на пыльной сельской дороге. Широко расставив крепкие руки с большими, как лапы варана, ладонями, он, извиваясь всем корпусом, споро преодолевал расстояние уже от чайной к дому.

Начитавшись Гайдара, нет, не разрушителя России, а того, кто написал про тимуровцев, я, хоть никогда и не был пионером, с готовностью кинулся Грише навстречу, предлагая свою помощь.

Опрокинувшись на спину, оскалив в победной улыбке свои, по-лошадиному широкие, ещё не изношенные зубы, он послал меня нормальным русским языком к истоку всех истоков. Хотя прошло более десятка лет, как сметливый вражеский осколок нашёл своё место в Гришиной спине, Потягунчик всё ещё чувствовал себя мужчиной.

Да, война...

Когда-то мне посчастливилось быть в известном берлинском парке, где стоит знаменитый воин-освободитель, вставший во весь богатырский рост над зеленью газонной травы, и я вспомнил Гришу Потягунчика, нашего бондарского ратоборца.

Воин-освободитель одной рукой прижимал девочку-Европу, а другая его рука сжимала опущенный меч, разваливший пополам фашистский перевертень. Чем не образ, чем не метафора сельского шлемоносца, которому уже никогда в жизни не прижать к сердцу, ни своего, ни чужого ребёнка, ползающему на своём чреве, «аки гад». И тоска его будет жалить и в пяту, и в голову до самого смертного часа.

Да, война...

## Андел! Андел прилетел...

*Я невидимку заметил – то ангела волос!*

*Я потаймку услышал – то ангела голос!*

*Юрий Кузнецов*

Холодная, пуржистая зима тысяча девятьсот пятьдесят первого года. Ранний заледенелый вечер. Мне десять лет. Вытертое пальтишко на вате, доставшееся мне по наследству от брата и жиденькая бедная кровь почти не греют. Маленькая станция посреди России не освещена, сюда еще не провели электричество. Стеклообразные пузыри керосиновых ламп пустыми сосульками вморожены в стены. Экономиться керосин. Внутри станции холодно, скучно и тоскливо. Кажется сейчас во всем мире такая же неуютность и бедность

До села Бондари далеко, более двух десятков километров. Там мой дом, моя семья. Завтра Рождество. Мать теперь готовится к празднику. Жарко натоплена большая, в пол-избы, русская печь. На лавке, возле печи, дежа с тестом для завтрашних блинов. Кирпичи на лежанке горячие, как на летнем солнышке. Хорошо лежать! Пусть в трубе возится и поскуливает нечистый, его хвостатого и рогатого в дом не пускает крест, которым мать на ночь затворила чело у печи. Спать не страшно. Одно плохо – ночь проходит быстро. Не успеешь, глаза прикрыть, а мать уже будит: – «Вставай, нечего бока отлеживать! Пора уроки учить. Под лежащий камень вода не потечёт» – и суёт в руки картошку. Картошка горячая, обжигает пальцы, пляшет в ладонях, будоражит. Вот уже и сон улетел. Вот уже и хорошо...

А здесь, на этой станции пусто, поезда равнодушно пролетают мимо, и только иногда, тяжело дыша от длительного гона, отдыхает какой-нибудь товарняк, груженный чугунами болванками, щебнем, или пассажирский, местного значения, как наш, выпустит пар, по-старчески охнет и, двинув туда-сюда шатунами, прихрамывая, снова тронется в путь.

За окнами зябкая серая поволока. Пассажиров – никого. Только я да мой двоюродный брат Васятка, так называют его мои родители, с красивой, сошедшей с новогодней открытки женщиной в белом пуховом, берете, из-под которого пружинисто выбивались крупные кольца темных волос. Руки женщина прятала в меховую муфту – зимняя мечта городских модниц тех времен. Женщине тоже было зябко и неуютно, здесь, под холодным взглядом мертвых керосиновых ламп. Только мой брат Васятка, в щегольском кожаном пальто-реглан цвета спелой вишни, в белых отороченных желтой кожей бурках из хорошего фетра, с «беломориной» во рту, все улыбается и всячески шутит, стараясь развеселить женщину.

В мою сторону он уже и не смотрит, Хотя, с полчаса назад, резко ткнув меня головой в сугроб, обещал расквасить нос, если я без разрешения буду за ним ходить и высматривать, чем они с Валентиной, так звали женщину, занимаются за скрипучей дверью угольного сарая, что стоял на задворках станции.

Васятка, или, как позже стали называть его мои родители, Василий Леонтьевич, в то время был молодым парнем двадцати шести лет, недавно демобилизовавшимся из армии, где прослужил восемь или девять лет в разведке. Война его пожалела, и пуля, выпущенная немецким снайпером, попала в автоматное ложе, разнеся его в щепки, а на излёте воткнулась в левую лопатку, не повредив ничего существенного и, предоставив ему, возможность всякий раз, при случае, хвастаться тем, что и его кровь была пролита за нашу Советскую Родину.

Вообще, Василий Леонтьевич был хорошим малым. Красавец, статный и высокий, которым не без причины гордились мои родственники за его внимательное и доброе отношение к ним, за его рассудительность и ум. Недаром же он, имея за спиной только ремесленное училище, работал в нашем райисполкоме служащим и получал хорошую, по тем временам, зарплату.

Но один грешок за ним водился: он долго не мог или не хотел жениться. Все его сверстники при бабах, с детьми живут, а он все ходит гоголем.

Каждую свою «залётку» он всякий раз приводил к себе домой, на одобрение родителям. Но родителям, почему-то, ни одна из невест не нравилась, и мой двоюродный брат, меня этих самых «залёток» как хотел, и на судьбу вроде не обижался.

Что и говорить, девчата к нему льнули. Да и как не льнуть, если война всех мужиков кругом выкосила, остались одни покалеченные, да пьянь-дурнотравье.

На этот раз брат решил привести родителям на смотрины невесту из города, с которой, он только что познакомился, будучи в Тамбове командированным по делам службы. Валентина, новая невеста, по разговорам недовольных родственников, была женщиной опытной, работала врачам в тюремной больнице, где ловила женихов, как говорил мой дядя Егор, на «живца»»

За время пребывания в городе, а брат тоже жил у бабушки, где я проводил зимние каникулы, мои городские родственники успели составить мнение о Валентине, которую Васятка каждый вечер приводил к нам. Так как Валентина сама жила на квартире, а после кино, ходить по улицам и стоять в подъездах, было холодно, да и небезопасно, даже для разведчика. Уголовники сновали по городу, как шершни.

Однажды мой брат уже приходил домой с порезанной рукой, выбивая нож у бандита, и бабушка ему строго-настрого запретила гулять по ночам:– «Кукуй уж здесь со своей кралей, чтоб греха не нажить!»

Два или три раза Валентина оставалась у нас ночевать. Бабушка сгоняла меня с кровати, которая предоставлялась в распоряжение новой подруге моего уважаемого брата, а мы с ним, постелив один на двоих овчинный тулуп, ложились на пол.

Мне было хорошо и уютно лежать вместе с братом, и я не артачился, а с охотой переходил спать на пол.

Однажды я проснулся от какой-то возни на кровати и тяжелых вздохов: вероятно, нашей гостье снился не хороший сон, и мне стало жалко ее, я протянул руку, чтобы разбудить брата и сказать ему об этом, но рука только нащупала мягкую шерсть, на овчине. Васятки рядом не было. Наверное, он по легкой нужде вышел на улицу, и я, затаив дыхание, стал его ожидать.

Вздохи постепенно перешли в стон. Тревожась за гостью, я потихоньку на цыпочках подошел к кровати – узнать, в чем дело, может воды принести или еще что, но резкий толчок ногой в грудь опрокинул меня снова на пал. Оказывается, брат уже хлопотал над Валентиной, прижимал ее плечи к подушке, чтобы она сильно не билась. Я хотел сказать, чтобы он поставил ей градусник, но, обидевшись, не стал ничего говорить, а, уткнувшись носом в подушку, уснул.

Утром Васятка, глядя на меня, прислонил палец к губам и потихоньку показал кулак, но я отвернулся и не стал его ни о чем спрашивать. Пусть теперь его невеста, как угодно болеет, я не подойду... И градусника не подам.

Под Рождество у брата кончалась командировка, ему надо было возвращаться домой.

– Вот хорошо Господь рассудил! – перекрестилась бабушка, – И ты с ним поедешь, каникулы кончаются, а тебя, кроме него, везти до

Бондарей некому. Одного зимой пускать боязно. Слава Богу, провожатый будет!

Васятка всеми силами отнекивался, брать меня с собой не хотел. Говорил, что ему такой «прицеп» не нужен, что он сам не знает, как добираться будет, может, пешком идти придется, кабы не заблудиться, зимний след переменчив...

К моему удивлению на вокзале нас ожидала Валентина, которая, поцеловавшись с Васяткой, чмокнула за одно и меня в озябшую щеку.

– Вот, бабка Фёкла довеска прицепила. Ты за ним пригляди, он, хоть, маленький, да шустрый, как ртуть, затеряется – ищи потом! – брат, строго на меня посмотрел и пошел за билетами.

Мы с Валентиной остались сидеть на желтом из толстой прессованной фанеры ЭМПЭСовском диване, празднично разглядывая озабоченных пассажиров. Валентина достала

из белого маленького ридикюля карамельку и дала мне. Конфетка сладким камушком перека-  
тывалась у меня на языке, и я страшно завидовал брату, что у него есть такая яркая и празд-  
ничная, как нарядная елочка, подружка.

Васятка пришел весёлый, держа веером розоватый трилистник билетов. От Васятки  
хорошо пахивало то ли одеколоном, а то ли вином – сразу не разберешь.

– Аллес, значит, звездац! Едем! До отца дозвонился. Он за нами на станцию лошадь  
пришлет. Гошу конюха.

Отец Васятки, дядя Левон, был председателем колхоза в Ивановке, деревне, от которой  
до Бондарей около семи километров. Домой мне надо еще добираться как-нибудь.

Дойду!

В Ивановке жил и сам Васятка. На работу в райисполком, он приезжал на «голубках»,  
обитых железом санках с изогнутыми, как грудь у голубя, полозьями на передке и с высокой  
резной спинкой. Катись хоть до Москвы! —

И вот мы – все трое, воодушевленные легкой дорогой и предстоящими праздниками,  
втиснулись в пригородный поезд Тамбов-Инжавино. Паровоз дал прощальных – два коротких  
и один длинный гудок и, припадая на все колеса, потащил вагоны с тамбовским людом в засне-  
женную степь.

Забитые снегом окна еле-еле cedят скудный зимний день. В вагоне накурено, тесно  
и зябко. Васятка, поскрипывая кожаны́м трофейным пальто, переминается с ноги на ногу,  
не зная, куда пристроить свою невесту. Мне досталось местечко на краю лавки, и я, втянув  
голову в воротник, радовался, что вот я какой шустрый – успел захватить место.

Но долго радоваться мне не пришлось.

– Давай, слазь! Чему вас, оглоедов, в школах учат? Женщинам место уступать надо!

Васятка, согнав меня, по-хозяйски уселся на мое место, немного потеснив бабу с кошел-  
кой. Та только искоса взглянула на него, а сказать ничего не сказала.

Брат обеими руками потянул Валентину за талию на себя и усадил на колени, расстегнув  
свой реглан. А я так и остался стоять притиснутый к заледенелому окну вагона.

Поезд часто останавливался, выпуская пассажиров у каждого полустанка, и мы трогались  
дальше. В вагоне становилось просторнее. Вот уже освободилось место и для меня, и я с готов-  
ностью уселся, пытаюсь согреться и немного расслабить затекшие ноги. Но расслаживаться мне  
долго не пришлось.

– Станция Березай! Кому надо – вылезай!

Васятка легонько толкнул меня кулаком в бок и пошел к выходу. Это была наша станция.

«Ну, всё – подумал я. – Почти приехали. Почти дома. В санях теперь тулуп лежит.  
Не будет же Васятка на свой роскошный реглан тулуп напяливать, вот я в овчину и залезу».

Вышли. Паровоз дал гудок, вагоны вздрогнули, как от испуга, и поезд отправился дальше  
по своей колее.

На станции никаких «голубков» не было – не прилетели. Сверху и снизу мело. Было  
видно, что это основательно и надолго.

– Ну-ка, сгоняй вон за тот угол на дорогу, скажи дяде Гоше, что мы его тут, на станции  
ждем. Пусть сюда подъедет. А то метёт – Брат, заслонившись воротником от ветра, слегка  
ссутулился. Было видно, что и он тоже здорово прозяб.

Одна Валентина, раскрасневшись, подставляла лицо ветру, и я видел, как на ее разгоря-  
ченных щеках, на ресницах таяли снежинки. Она просунула ладони в меховую муфту, и так  
стояла, разравнивая небольшие сугробики снега своим белым, ручной валки, сапожком.

Она выжидательно посмотрела на меня, и я, отвернувшись, пошел на соседнюю от здания  
станции улицу, где стояла забегаловка, узнать – там ли со своими «голубками» конюх Гоша.

Завтра праздник, и он наверняка воспользуется моментом, чтобы пропустить через себя граммов 100—150 для сугрева, как говорится.

Но чайная была закрыта. Пусто и, тоскливо она смотрела на меня морозными бельмами окон. Редкие прохожие, загораживаясь воротниками, спешили в теплые жилища. Ни лошадей, ни санок возле чайной, да и на самой улице, не было, лишь ветер, волоча белые крылья вьюги, рыскал по всем углам, хозяйничая в поселке, сметая с изломанных крыш жесткие, как березовые опилки, снег.

Высматривать на улице конюха Гошу на «голубках» в такой чичер, то есть, в неуютность, зябкость, в суконном пальтишке, одетом на одну ситцевую рубаху, было не вмоготу. Конюх Гоша и сам найдет дорогу на станцию. Как мне не пришло в голову сказать об этом своим попутчикам?!

Обрадованный удачной мыслью, я снова вернулся на станцию, где в заде ожидания мне показалось гораздо теплее, чем на улице, хотя высокая круглая обитая черной жостью, печь уже, или еще не топилась. Ладони ощущали только стылую шершавую поверхность проржавшего на сгибах, железного листа, и – всё.

В зале так же никого не было, только Валентина и мой брат, сцепившись руками, сидели на стационарном диване так близко друг от друга, что их губы почти соприкасались.

«Наверное, дышат друг на друга, греются» – подумал я, и присел рядом на краешек скамьи. Брат искоса посмотрел на меня, что-то тихо сказал своей подруге, и они вышли на улицу, оставив мне весь диван. А, что делать и чем заняться одному в пустом помещении я не знал, и тут же прошмыгнул вслед за парочкой в дверь.

Постояв немного на ветру, я заскучал, покрутил головой, – Васятки с Валентиной нигде не было. Невдалеке стоял дощатый сарай с открытыми воротами. Я отправился туда.

Нырнув в полную темноту, я стал приглядываться. У стены, сбоку от ворот, за большим ворохом каменного угля я увидел двуединую фигуру моих спутников. Они были так увлечены, что не заметили моего появления, и я подошел совсем близко.

В одно мгновение огнецветные крылья вспорхнули, и двуединая фигура распалась. Валентина резко одернула пальто, и с приоткрытым ртом растеряно уставилась на меня.

Мой двоюродный брат, почему-то разозлившись, схватил меня за шиворот и быстро сунул головой в угольную пыль, перемешанную со снегом.

От неожиданности я глубоко вздохнул, в горле запершило, и я закашлялся. Брат ещё раз резко встряхнул меня и, тихо матерясь, волоком за воротник вытащил на улицу.

Я, плача и вытирая замёрзшими руками лицо, вернулся на станцию, в зал ожидания. Мне было обидно, и я не понимал – за что так сильно разозлился на меня Васятка.

Через некоторое время, отряхивая снег с одежды, в зале появилась и влюбленная парочка.

Валентина, виновато улыбаясь, достала из ридикюля яркий, как розовый бутон, душистый носовой платочек и стала вытирать моё лицо. Платочек сразу же обмяк и почернел.

– Ах, какие мы чумазые! – сказала Валентина и протянула в золотой бумажке шоколадную конфетку: – Бери, бери!

Обида потихоньку ушла. Ну, за что обижаться? взрослые бывают всегда правы. Незачем мне было соваться в этот проклятый сарай. Там бы и без меня обошлись...

Я всем нутром, почувствовал, что я нарушил какую-то высшую связь, распалось что-то цельное, единое и потаенное.

Терпкая сладость шоколада нежно обволакивала нёбо, зубы увязали в этой сладости, рождая блаженство. До этого-момента я о вкусе шоколада не имел никакого понятия, и теперь с восторгом медленно двигая языком, продлевал удовольствие.

Валентина, заметив с каким вождением, я облизываю губы, протянула мне еще два завернутых в золото кирпичика, которые тут же оказались у меня во рту, насыщая сладостью гортань.

Но все проходит. Осталось только воспоминание вкуса.

Да здравствуют все женщины на свете!

Да здравствует Валентна!

Ощущая свою вину, я подошел к Васятки и сказал, что пойду снова смотреть – не приехал ли за нами дядя Гоша. Брат только раздраженно махнул рукой» и прижал к себе свою спутницу, закрыл ее широким и сильным телом.

На улице, конечно, никаких саней «голубков» и никакого Гоши не было, лишь ветер, развлекаясь, сдувая с крыш, как с молока, белую пену.

День был серым и скучным. Возвращаться в помещение станции не хотелось: я, понимая, что мое присутствие там излишне, нежелательно, и лучше от этой парочки быть в стороне. Но стоять просто так на морозе было холодно, и я отвернул у старой ватной шапки уши, завязал тесемки у подбородка и стал, оглядываясь, думать – чем бы еще заняться, чтобы не окоченеть основательно.

Улица была длинная, в конце улицы стояла одинокая ветла, как закутанная в платок баба» вышедшая на дорогу провожать своих родимых.

В большинстве русских поселении на краю, обочь дороги, всегда можно было увидеть одинокое дерево, как символ, как напоминание о том, что тебя провожают, что тебя будут ждать и, возвращаясь в родное гнездо, ты встрепенешься сердцем, увидев при дороге старушку-мать, или, когда матери уже не будет на белом свете, одинокая ветла напомнит тебе о ней, будет поджидать тебя, и бывшее обернется явью, и ты отмахнешь рукавом соринку, попавшую в глаз, и ускоришь шаги в ожидании невозможного...

Но я тогда об этом еще не думал, не было у меня еще длинных дорог. Я думал как можно быстрее добежать до ветлы той, прикоснуться к ней ладонью» постоять рядом: дальше раскинулась заснеженная степь без конца и края, а за этим заснеженным простором, мой дом, где теперь жарко натоплена печь, где мать, подоив корову, гремит посудой, готовясь к завтрашнему празднику, и, старый, прокудный кот ластится к ногам, выпрашивая пузырящегося после цедилки, теплого молочка.

«Андел прилетел! Андел!» – всплеснет руками... Бежать было легко и весело. Улица расступалась передо мной, снег бил плотным, и лишь редкие собаки, спохватившись, не со злом, а так, для порядка, лаяли мне вслед. Вот оно и дерево!» Заледенелая кора не грела, и пальцы стыли на ней, как на жести. Стая ворон, стряхивая на землю снег, поднялась с веток, покрывающая на меня недовольно и зло, бесцельно покружились и снова сели каждая на свое место.

Ни впереди кого! Лишь кустики придорожной поляны зябко вздрагивали, подставляя свои сухие метелки порывам ветра.

От продолжительного бега я почти согрелся, и обратно возвращался шагом. Незаметно, крадучись, дворами, как лазутчик, пробирался вечер.

Низкие сумерки. В окнах станции зажглись желтые огни. Над покатою ее крышей, то, припадая к ней, то, поднимаясь, залохматился из трубы дым. На ночь топили печи.

Я уже понял, что за нами никто не приедет – или Гоша пьян, или конь издох.

В помещении станции уютно потрескивала печь, разбрасывая по стенам и потолку пугливые тени. Мертвые сосульки ламп ожили, за пыльными стеклами затрепетали желтые бабочки огня. Идти никуда не хотелось.

Васятка, увидев меня, облегченно вздохнул и встал с дивана:

– Ну, вот и все! Поехали!

Я с удивлением на него посмотрел. На чем ехать, когда на улице, ни машины, ни саней нет?

Васятка натянул перчатки, взял Валентину за талию, бережно поднял ее с дивана и надвинул ей по самые уши пушистый берет.

Идти такую даль пешком, да еще в метелицу, да еще на ночь, глядя, было рискованно. Но бывший старшина разведки, имевший боевые награды, сказал: «Поехали!» – значит, мы когда-нибудь, но обязательно будем дома.

Поначалу я даже обрадовался, что мы наконец-то сдвинулись с места. «А, Гоша нас встретит на дороге, чего время терять!» – сказал старшина разведроты, штурмовавший в свое время Берлин, сменяя фетровыми бурками выглаженный снег.

Идти было хорошо. Ветер, дуя в спину, шаг был легкий. Снег похрустывал, словно капустные листья под ногами. Мело, но не так, чтобы уж очень. Васятка ухажористо придерживал под руку Валентину, а я семенил сзади. Шли молча. Мне говорить было не с кем, а моим спутникам слова были не нужны. Они, иногда, прислонялись головами друг к другу, целовались, как голубки, да простится мне столь банальное сравнение, и шли дальше.

Они останавливались, останавливался и я, соблюдая расстояние двух шагов, как при ходьбе. Теперь-то я знал, что третий – всегда лишний, и не лез им под ноги.

Мы уже давно вышли за пределы поселка, отсюда станции не было видно, а перед нами раскинулось необъятное снежное поле. В то время лесозащитных полос еще не было, и глазу не во, что было упереться. Я оглянулся, высотное здание элеватора растворилось в снежной замяти, и только темная, призрачная тень слегка проступала сквозь белую кисею.

Впереди, пластаясь над землей, пролетали черные большие птицы, безмолвные, как само окружающее пространство. Однажды нашу дорогу пересекла огромная собака, которая, повернувшись всем туловищем, остановилась, глядя на нас, и, казалось, весело щерилась.

Васятка одной рукой попридержал подругу, другую руку сунул за пазуху и вытащил блестящий, никелированный трофейный пистолет, тот, которые я у него подсмотрел, когда он маслом для бабушкиной швейной машины протирал какие-то железяки и винтики.

Вначале я думал, что это немецкая зажигалка, но небольшой пенальчик с патронами внес ясность в назначение столь заманчивого для мальчишеских глаз предмета. Тогда, у бабушки, я потаенным голосом попросил брата показать мне «наган», он строго посмотрел на меня, подумал, и, отвернувшись, вытащил из кармана пистолет и, наставив на меня, нажал спусковой крючок. Я отпрянул в сторону, но после щелчка из ствола вырвался веселый колеблющийся язычок, пламени. Но меня обмануть было трудно, это совсем не тот пистолет, который он разбирал и смазывал маслом, хотя точь-в-точь такой же и никелированный.

Теперь мой брат, одной рукой придерживая подругу, другую вытянул вперед – вспыхнуло короткое пламя, и раздался оглушительный выстрел, от которого Валентина слегка присела. Собака, как на пружинах, подпрыгнув на все четыре ноги, метнулась в сторону и скрылась за снежной пеленой. Позже говорили, что это был волк.

Васятка озабочено посмотрел вокруг, постоял немного, и, подозвав меня, велел идти впереди, чтобы – «как паршивая овца не отставал от стада, и был всегда на виду». За «овцу» я, немного обиделся и убежал далеко вперед.

Мело только снизу, а сверху сыпалась одна снежная пыль. Через эту пыль, через снежную мглу, стая пробиваться, пока еще робкий желтоватый свет луны. Она неровным обмылком скользила по реденьким размытым облачкам, отстирывая небесное полотно.

Сквозь снежный свей, проглядывал санный путь с вмерзшими каштанами конского навоза.

Возле темных шаров кружились вороны, они еще не торопились на ночлег, и с недовольным видом отскакивали в сторону, когда я подходил к ним, но не улетали, всем своим птичьим инстинктом понимая мою безобидность.

Я и сам со стороны, наверное, был похож на растрепанного галчонка с перебитыми крыльями: длинные полы суконного, перешитого из солдатской шинели пальто, безвольно вскиды-

вались и царапали снежный наст, когда я проваливался в колею. Оторванный козырек нахлобученной на глаза шапки, тонкая шея, выглядывающая из воротника, к тому же, руки, сунутые в карманы, сковывали мои движения, – приходилось при ходьбе двигаться корпусом вправо-влево, как это делают крупные птицы.

Идти размерным шагом мне надоело. Было холодно, и я, время от времени переходил на бег, отрываясь довольно далеко от своих спутников, пока короткий свист брата не останавливал меня, и я снова ждал, когда попутчики приблизятся ко мне, потом снова плелся, но уже за ними, тяжело волоча, ноги.

Мгла сгустилась настолько, что на снегу от луны стала проступать моя тень, и я все норовил придавить ее валенком, а она все ускользала от меня и ускользала,

Лунный свет из желтого превратился в белый – точь в точь, если запрокинуть голову, увидишь луну, как широко горящий фитиль в стеклянном пузыре керосиновой лампы. От снега и высокой луны было достаточно светло, чтобы не сбиться с пути-дороги, на которой уже не топтались птицы, лишь конские шары кое-где серебрились, покрытые инеем.

Хотя да прошли уже довольно приличный путь, нам так никто и не встретился. Спасительный Гоша теперь, наверное, завалившись за печную трубу, спит и видит хорошие сны, ведь завтра же Рождество, и всем, даже конюху Гоше, который по пьяному делу забыл о нас, должны были сниться только хорошие сны.

Мои попутчики, наверное, тоже приустиали – они все чаще останавливались, принимали друг к другу, тяжело вздохнув, оглядывались на меня, и шли дальше.

Теперь на Ивановку, где жили. Васяткины родители, надо было от большака, по которому мы шли» свернуть направо и через речку, через бугор рукой подать до этой самой Ивановки. А завтра, поесть блинков со сметаной и – домой! Но, скоро сказка сказывается.

Для взрослых людей, путь в два десятка километров – не дорога. Бабы из Бондарей часто ходили на станцию за солью и оборачивались обыденкой, да к тому же за плечами по пуду соли. И – ничего! Но мне, десятилетнему мальчику, такое расстояние было не под силу, – Тряпочные ноги никак не хотели передвигаться, и я начал отставать от своих спутников. Теперь уже они останавливались, прижавшись, друг к другу, ждали меня, и потом мы все вместе шли снова.

Брату такой способ передвижения, вероятно, осточертел, и он все чаще останавливался и подгонял меня. Что я мог сделать? Я старался изо всех сил, а ноги не хотели передвигаться, я шмыгал ими по снегу, оставляя за собой неровные борозды на свежих наметах.

Тогда был найден выход – Валентина потрепала меня по щеке, а Васятка сказал, что они все равно теряют время, поджидая меня, – ты иди вперед, а мы тебя будем догонять.

Конечно, это предложение было разумным, и я поплелся вперед, иногда отдыхая, ложился на снег, меня поднимали, и я снова шел дальше.

Лежать в снегу было так хорошо, так тепло и уютно, что я вставал только после нескольких толчков брата.

– Если ты еще раз ляжешь в снег, я тебя из штанов выкину – пообещал брат, растирая мне колючим снегом лицо и уши.

После такой, экзекуции и угроз идти стало немного легче, и я шел, шел и шел.

Сбоку от дороги большим черным овином стоял стог. Проходя мимо, я еще подумал, что как бы хорошо сейчас зарыться в солому и переждать пока перестанут гудеть ноги.

Я с сожалением еще раз оглянулся на стог, и увидел, что мой брат и Валентина повернули туда же. Я, было, рванул к ним. Но Васятка махнул рукой, мол, иди-иди, мы тебя догоним! И показал кулак.

Делать было нечего, я потихоньку потащился вперед. «Им – то хорошо, – подумалось мне. – Они быстренько пописают за стогом и – в солому! И отдохнут. А ты иди да иди...» Я еще раз оглянулся и, не выдержав, сам повернул туда же, к стогу.

Усевшись с противоположно! стороны, я зарылся в солому, стог кто-то воровато уже обдергивал, и солома была разбросана везде.

Хорошо сидеть! Ветер больше не махал крыльями, раздувая холодное пламя пурги, а белые распростер их у меня над головой. Лишь изредка кончики крыльев соскальзывали со стога, осыпая меня звездной пылью, А может быть, это вовсе и не ветер, а белый рождественский ангел защищает меня крылом своим от стужи, вот еще чуть-чуть согреюсь, вот еще немного отдохну ж – всё. И в дорогу. Еще чуть-чуть...

Но солома не грела, а шуршала, шуршала, как летний, дремотный дождь по крыше. Где-то рядом, попискивая, возились мыши. За стогом, где спрятались мой двоюродный брат с Валентиной, было тихо, и я успокоился. «Наверное, они тоже решили отдохнуть, – подумалось мне. – Главное, не закрывать глаза, не уснуть. Как только мои попутчики покажутся на дороге, и я с ними – вот он!

Брат будет рад, что ему не придется меня догонять, и Валентина тоже будет рада, что я никуда не делся».

Постепенно мороз стал отступать от меня. Было, не то чтобы тепло, а как-то нечувствительно к холоду, словно ты долго сидел на одном месте, и все тело затекло, одеревенело.

Теперь на той стороне стога стали слышаться тяжелые вздохи и легкое постанывайте. Наверное, Васятка с Валентиной уже отдохнули, уже разминают ноги, и скоро тронутся в путь. Надо и мне подниматься. Но вставать, смертельно не хотелось, мной овладевало оцепенение.

Точно такое же чувство я уже испытал однажды. Однажды это со мной уже происходило. Мне было лет, пять или шесть. Стояла глухая осенняя ночь. Изба, освещенная маленьким язычком керосиновой лампы-коптюшки. фитиль, без стеклянного пузыря, прикрученный до предела, еле-еле тлеет, высвечивая большую русскую печь возле двери и маленькое темное оконце, выходящее во двор, Я проснулся неожиданно и сразу. Мои детский сон оборвал чей-то пристальный и требовательный взгляд, который вошел в мои мозг и заставил открыть глаза.

Прямо передо мной, на моей детской кровати» жесткой и холодной, стояло на коленях существо со скрещенными на груди руками, с лицом девочки-подростка. Лицо обрамляли спадающее до плеч светлые, как в изморози, волосы. Темные зрачки больших глаз внимательно рассматривали меня, как рассматривает ребенок любопытный предмет. Длинная белая рубаха, больше похожая на плащ или накидку, колебалась невесомо, как пламя на сквозняке, хотя окна и двери были плотно закрыты. Помнится, мне тогда еще подумалось, – откуда ветер, если я никакого движения воздуха не ощущал. Я, не то чтобы испугался, но мне стало как-то тревожно от этого пристального взгляда. Я хотел подняться и не мог, тело меня не слушалось, даже шевельнуть пальцами мне было не под силу.

Наверное, это сон? Но военных времён плакат во всю стену «Родина-мать зовет!» аршинными буквами просматривался сквозь колышающуюся накидку гостыи. Сквозь эту газовую колышущуюся ткань так же просматривалось, уже оклеенное к зиме полосками бумаги, глухое надворное окно, черные стекла которого постепенно, как раздувают угли, краснело и краснело, пока не сделалось совсем светлым.

Почему-то это меня испугало больше всего, и я резко и громко вскрикнул. Девочка-подросток, или кто бы там ни был, быстро исчезла, оставив после себя чувство невыносимой, тревоги.

Всё так же белела печь, все так же гневно кричала в черном платке женщина на плакате, все тоже оконце в стене, но теперь в нем уже кто-то раздул костер, и красные кони забегали по избе.

От моего крика проснулись родители.

Отец, как был в нижнем белье и босиком, шарахнул плечом дверь и выбежал во двор. Затем вбежал снова в избу, схватил двумя руками дубовую лоханку с коровьим пойлом и метнулся опять на улицу.

Окно сразу потемнело, и веселые красные кони пропали. Отца долго не было. Мать трясуцимися руками обхватила мою голову и прижала к себе, с тревогой посматривая на дверь. Отец вернулся, нашарил в горнушке, где всегда сушился табак, кiset, долго не мог свернуть сигарку, но потом, свернув, закурил:

– Всё!

Если бы не оголец капец нам! Сгорели бы. Торфяная крошка под навесом занялась. Ума не приложу, как это случилось?

Позже мы не раз вспоминали этот случай, вероятно, произошло самовозгорание. Такое бывает. В деревне к огню внимание всегда особое, искры в золе не могло быть, это точно.

Утром я рассказал матери о своем ночном видении. Мать не сколько раз перекрестила меня и сказала, что это твой Ангел-хранитель был. Помолись, сынок, поблагодари Господа, что он беду от нас отвел» А говорят – Бога нет...

Вот и теперь, сидя за стогом, не шевелясь, я во все глаза смотрел на дорогу, – как бы не прозевать мою сладкую парочку, провожатых моих.

Дорога была пуста, небо очистилась, над дорогой перемигивались звезды, и каждая звезда, почему-то, при этом тихо позванивала. Звон шёл отовсюду, нежный и мелодичный.

Мимо звезд, мимо дороги, босыми ногами касаясь снега, в белой просторной рубаше шла ко мне девочка, та, из ночного видения, спасавшая нас от огня. Она снова внимательно и пристально смотрела мне в глаза, ее требовательный взгляд проходил в самый мозг, в самую его сердцевину. Она что-то от меня хотела, а что, я и понять не мог.

Было странно, что я не удивился девочке босой и в одной ночной рубашке посреди зимы на снежном поле.

Все так же мигали звезды, испуская небесный звон. Все так же светилась под луной пустынная белая дорога...

– Ах, мать-перемать! Чуть мальчонка вилами не запорол! – раздалось у меня за спиной.

Но я все сидел, не оглядываясь, все смотрел и смотрел на дорогу, на звезды, на девочку, которая стада пятиться и. пятиться назад, и растворилась в белом просторе под хрустальные перезвоны звезд. Где-то там, вдали колыхалась ее газовая рубашка. Мне было хорошо. Так хорошо еще никогда не было. Тепло и уютно. Не надо меня трогать. Я никуда не хочу...

Мужик, пришедший воровать сено, чуть не проткнул меня вилами. Откинув их, он наклонился надо мной, тёр мои уши, лицо, тряс изо всех сил, матерился, потом опять тёр уши. Я. ненавидал его. Зачем он пришел сюда? Зачем он меня трогает, не дает смотреть на звезды? Ч то я ему сделал?..

Но слова так примерзли к языку, что и не оторвешь. Получалось глухое мычание.

Звезды стали срываться с неба, падать в снег и гаснуть. Месяц, как быстрые саночки, соскользнув с неба, скрылся за сугробом. Стало темно-темно.

Мужик поднял меня на руки, уложил на большие, как дровни, салазки с которыми он пришел за колхозным сеном, и куда-то повез. Потом был слышен чей-то плач, и, – голоса, голоса...

Очнулся я в избе от острой, боли в ногах.

Жарко топилась печь. Стоял резкий самогонный запах. Я лежал без штанов, водной рубаше на широком лохматом тулупе. Перед собой на коленях я увидел Валентину, уже без берета, в шелковом с золотыми цветами платице. Валентина большим жесткой варежкой растирала и растирала мне ноги. Васятка сидел рядом на стуле, непослушными руками, просыпая махорку на свой фатовый реглан, набивал козью ножку. «Наверное, папиросы кончились» –

промелькнуло у меня в голове. Мой двоюродный брат, скривив в горькой улыбке губы, все смотрел и смотрел на меня, и все сыпал и сыпал махорку.

Валентина кому-то сказала, чтобы мне дали теперь выпить самогонки. «Ему теперь внутрь надо, сказала она. – Грамм пятьдесят, не более». И весело на меня посмотрела.

Самогон был противный, отдавал дымом и свекольной горечью, но я, подавив отвращение, выпил все до капли. Где-то внутри, под самым сердцем стал разгораться костер. Ноги отошли от мороза и уже больше не болели, только кое-где покалывали иголки. Валентина заставила меня пошевелить пальцами, что я с охотой и сделал.

Труссы в то время мальчишки моего возраста не носили, и мне было стыдно лежать, вот так» секульком наружу, перед такой красавицей и ловкой девушкой, как Валентина. Я быстро вскочил, схватил с лавки свои парты, и, путаясь в них, стал натягивать на себя. Все сразу засмеялись. Хозяин избы, где мы находились, хлопнул меня широкой ладонью по тощему задку и сунул мне в руки мягкий горячий блин, смазанный маслом,

– Ну, и напугал ты меня, паршивец! Ну, напугал. Как я тебя вилами не поддел – ума не приложу? Считай, ты заново родился. Накось, выпей еще!

Но Валентина отвела его руку:

Успеет еще он к этой гадости привыкнуть! А, с медицинской целью – ему достаточно.

– Иван, – обратился мой брат к мужику. По всем, видимости, они были раньше знакомы» – Одолжи мне до-завтра санки. Я парня на них домой отвезу, намучался он. А за то, что ты мальчишку спас и от меня беду отвел, я тебе завтра сам воз сена привезу.

Дай салазки. Во, ведь как? – говорил он растеряно, – воз сена за мной! Ну, по рукам! Я этого бойца, как барина, домой доставлю. Ну, как, поедем или ты здесь заночуешь? – обратился теперь он ко мне.

Я с радостью закивал головой – конечно поеду! Это не ногами топать. И предано посмотрел на Валентину. Та молча погладила меня по голове.

Я быстро накинул пальто, застегнул на все пуговицы, надвинул шапку:

– Идем! – и цвиркнул по-мужски сквозь зубы.

Валентина закутала меня своим пушистым шарфом, и мы вышли на улицу.

Санки катились. Снег похрустывал. Звезды лучились и весело подмигивали мне, мол, ничего! – жив, будешь – не умрешь! И там, в сверкающей и мгlistой вышине, среди ярких россыпей, расправив пушистые крылья, а может, это была накидка из газовой ткани, парил мой Ангел-Хранитель, которого я и потом, много-много, раз искушал. Прости меня, Божий Посланец! И не держи на меня сердце. Аз – человек...

А. Васятка так и не женился на Валентине. Не глянулась она его родителям. Не ко двору пришлась.

## Воля

Жил у нас в Бондарях странный человек по имени Воля. Может у него кличка такая была – не знаю, но он всегда называл себя «Волей», хотя его, неизвестно каких кровей опекунша, кликала Валея. Валентин, значит. Так и жили они двое: чужая пожилая женщина, похожая на большую черную ворону в своих чудных широких одеяниях и приемыш – маленький серый воробышек Воля.

Женщина привезла Волю с собой откуда-то со стороны. Говорили, что она, уходя от немецкого злодейства, остановилась у нас в селе, очарованная малыми «карпатскими» горками за тихой речкой с громким названием Большой Ломовис. Откуда такое название для мелководной реки в центре черноземного края никто не знал: местные жители запомнили, а пришлые и вовсе не интересовались. Речка – она и есть речка. Течет, и ладно!

Для нас, мальчишек, речка эта была вроде большого океана, вся жизнь проходила на ее берегу. Там-то мы и познакомились с Волей.

Распластавшись на горячем песочке, он пространно рассказывал о своей прошлой жизни, о скитаниях по поездам и подвалам на территориях занятых немцами, о побегах из-под охраны, когда его вместе с евреями вели на расстрел к Бабьему Яру, как он хоронился в придорожной канаве, пока фрицы делали свое дело.

Рассказы его были страшны и живописны так, что и до сих пор вызывают во мне ужас и ненависть к немцам, как к нации каннибалов. Я знаю, что это не так, но ничего не могу с собой поделать – память детства несокрушима.

Воля был гораздо старше нас, школьников, чьи жизни обнаружили себя уже после войны, или немного раньше,

Но Воля почему-то всегда дружил с нами: уже не детьми, но еще и не юношами. Ровесники его не интересовали.

Воля был мал ростом, так мал, что встретив его на улице большого города любая маломальски сердобольная женщина, оглянется беспокойно назад – как без сопровождения взрослых гуляет такой мальчик в толпе пешеходов?

Маленькая, узкая головка, стиснутая с боков, вызывала ощущение, что она, голова эта, смятая какой-то чудовищной силой, стала плоской и даже уши казались приклеенными.

В то время ему было не менее шестнадцати-семнадцати лет, но впечатление он производил малолетки. В битком набитом городском автобусе ему бы могли уступить место, если бы не рыжеватая редкая поросль под всегда мокрым носом и на узком клинообразном подбородке.

Воля приходил к нам в школу, подолгу ждал, когда закончатся уроки, тихо интересовался: у кого есть какая-нибудь денежная мелочь, «денег нет, хоть вешайся!», просил одолжить. Потом щедро угощал махоркой, учил крутить самокрутки, поощрял, когда получалось, когда не получалось, – интересно и складно матерился и предлагал для пробы сделать пару затяжек.

Нам было лет по десять, курить мы не умели, но очень хотелось также затянуться, картинно выпустить дым из ноздри и при этом не закашляться.

Карманная мелочь водилась редко, курить у нас тоже не получалось...

Для меня и теперь загадка, – что могло заинтересовать Волю в нас, сельских вполне домашних детей, обыкновенных мальчишек.

Воля был одержим воровской романтикой. Рассказывал о заманчивой, богатой жизни вольных блатняков, о воровском слове, за которое идут на нож, но один раз данное слово обратно не берут.

Говорил он медленно, с растяжкой, присвистывая шипящие звуки: «Я фрица на перо, как жар-птицу посадил, когда он на мамку вс-собрался...»

От этих слов, от этих шипящих звуков становилось как-то не по себе, хотелось убежать, спрятаться, закрыться руками.

Воля в нашей школе не учился. Да и учился ли он вообще, я не знаю. Он как-то говорил, что не школа делает человека человеком, а тюрьма. Во всяком случае, про Робин Гуда он не читал, иначе, хотя и без явных угроз, но всякую карманную мелочь у нас он бы не вымогал своим тихим, с потаенным смыслом голосом. В открытой драке его можно было легко одолеть, но вступать с ним в конфликт никто из нас не решался.

Однажды он появился в школе в совершенно пьяном состоянии, улегся в дверях учительской и уснул. Здание милиции было напротив школы, Волю унесли в отделение, где он преспокойно проспался и отделался легким шутливым напутствием – всегда закусывать.

Посещение милиции на Волю подействовало оглушительно. Теперь при каждой встрече он неимоверно гордился тем, что «тянул срок». Рассказывал о пыточном подвале «ментовки», где ему заламывали руки, отбивали почки, но он «сука буду!» никого не заложил, и вы, пацаны очковые, можете спать спокойно: за вами не придут и не повяжут.

За что нас «повязывать», мы, конечно, знали и были Воле благодарны, что он не раскололся.

«Денег нет, хоть вешайся!» – сказал он, как всегда, присвистывая и пустив сквозь передние зубы длинную пенистую струю. Пришлось опоражнивать карманы, вытряхивать заначки: «Воле надо опохмелиться!».

Воля опохмелялся своеобразно: на те нищие деньги, что он смог у нас наскрести, можно было купить, разве что порошки в нашей районной аптеке, куда мы носили собранную на колосях ржи спорынью, которая тогда высоко ценилась.

В школе нам говорили, что этот крошечный паразит способен уничтожить урожай зерновых за краткое время, и задача пионеров и школьников на хлебных полях собирать затевашуюся в колосках спорынью и сдавать в аптеку. За спорынью в то время хорошо платили и мы с удовольствием выбирали из тощих колосков черных паразитов, чтобы потом, скооперировавшись, отнести в аптеку и получить деньги за свой детский труд.

Грибок этот крошечный, больше похожий на блоху, чем на гриб. Чтобы собрать чайный стакан этого паразита, надо было ходить по полю целый день пионерскому отряду и неизвестно, кто больше вредит урожаю: спорынья или мы.

Полученные деньги тратились по назначению на нужды пионерии, но часть денег получали на руки и мы – на кино и на морс.

Морс – напиток детства мы пили с большим удовольствием.

«Клапана горят!» – морщась, сказал Воля и отправился в аптеку за углом.

Какие клапана и почему они горят – нам было любопытно, и мы потянулись за Волей.

Через несколько минут Воля вышел из аптеки, оглянулся по сторонам и, увидев нас, широким жестом достал из кармана пузырек с какой-то жидкостью, свинтил пробку, картинно закинул голову, вливая в себя содержимое склянки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.